

---

---

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

---

---

ЭСТЕТИКА  
И ЛИТЕРАТУРНАЯ  
КРИТИКА



МОСКВА  
«ИСКУССТВО»  
1984

**Вяземский П. А.**  
В 99 Эстетика и литературная критика /Сост., вступ.  
статья и коммент. Л. В. Дерюгиной.— М.: Искусство,  
1984.—458 с.—(История эстетики в памятниках и  
документах).

В сборник вошли литературно-критические и эстетические статьи и мемуарно-биографические очерки П. А. Вяземского /1792—1878/, главы из его монографии о Фонвизине, фрагменты из записных книжек и писем. Наибольшее внимание уделяется соотношению литературы и общественной жизни, национальному своеобразию литературы и искусства, борьбе литературных направлений первой половины XIX века. Большая часть материалов в советское время переиздается впервые.

• 0302060000-82  
В \_\_\_\_\_ 10-84  
025(01)-84

ББК 83.3Р1  
8Р1

---

## ВОСПОМИНАНИЯ О 1812 ГОДЕ

---

Написанное мною стихотворение «Поминки по Бородинской битве» дало мне мысль перебрать в голове моей все, что сохранилось в ней из воспоминаний о том времени. 1812 год останется навсегда знаменательною эпохою в нашей народной жизни. Равно знаменательна она и в частной жизни того, кто прошел сквозь нее и ее пережил. Предлагаю здесь скромные и старые пожитки памяти моей.

### I

Приезд императора Александра I в Москву из армии 12 июля 1812 года был событием незабвенным и принадлежит истории. До сего война, хотя и ворвавшаяся в недра России, казалась вообще войною обыкновенною, похожею на прежние войны, к которым вынуждало нас честолюбие Наполеона. Никто в московском обществе порядочно не изъяснял себе причины и необходимости этой войны; тем более никто не мог предвидеть ее исхода. Только позднее мысль о мире сделалась недоступною русскому народному чувству. В начале войны встречались в обществе ее сторонники, но встречались и противники. Можно сказать вообще, что мнение большинства не было ни сильно потрясено, ни напугано этою войною, которая таинственно скрывала в себе и те события, и те исторические судьбы, которыми после ознаменовала она себя. В обществах и в английском клубе (говорю только о Москве, в которой я жил) были, разумеется, рассуждения, прения, толки, споры о том, что происходило, о наших стычках с неприятелем, о постоянном отступлении наших войск вовнутрь России. Но все это не выходило из круга обыкновенных разговоров ввиду подобных же обстоятельств. Встречались даже и такие люди, которые не хотели или не умели признавать важность того, что совершалось почти в их глазах. Помнится мне, что на успокоительные речи таких господ один молодой человек — кажется, Мацнев — забавно отвечал обыкновенно стихом Дмитриева:

Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там<sup>1</sup>.

Но никто, и, вероятно, сам Мацнев, не предвидел, что этот Миловзор-Наполеон скоро будет *тут*, то есть в Москве. Мысль о сдаче Москвы не входила тогда никому в голову, никому в сердце. Ясное понятие о настоящем

редко бывает уделом нашим: тут ясновиденью много препятствуют чувства, привычки, то излишние опасения, то непомерная самонадеянность. Не один русский, но вообще и каждый человек крепок задним умом. Пора действия и волнений не есть пора суда. В то время равно могли быть правы и те, которые желали войны, и те, которые ее опасались. Окончательный исход и опыт утвердили торжество за первыми. Но можно ли было, по здравому рассудку и по строгому исчислению вероятностей, положительно предвидеть подобное торжество — это другой вопрос<sup>2</sup>.

С приезда государя в Москву война приняла характер войны народной. Все колебания, все недоумения исчезли; все, так сказать, отвердело, закалилось и одушевилось в одном убеждении, в одном святом чувстве, что надобно защищать Россию и спасти ее от вторжения неприятеля. Уже до появления государя в собрание дворянства и купечества, созванное в Слободском дворце<sup>3</sup>, все было решено, все было готово, чтобы на деле оправдать веру царя в великодушное и неограниченное самопожертвование народа в день опасности. На вызов его единогласным и единодушным ответом было — принести на пользу отечества поголовно имущество свое и себя. Настала торжественная минута. Государь явился в Слободской дворец пред собранием. Наружность его была всегда обаятельна. Тут он был величаво-спокоен, но видимо озабочен. В выражении лица его обыкновенно было заметно, и при улыбке, что-то задумчивое на челе. Это отличительное выражение метко схвачено Торвальдсеном в известном бюсте государя. Но на сей раз сочувственная и всегда приветливая улыбка не озаряла лица его; только на челе его темнелось привычное облачко. В кратких и ясных словах государь определил положение России, опасность, ей угрожающую, и надежду на содействие и бодрое мужество своего народа. Последствия и приведение в действие мер, утвержденных в этот день, достаточно известны, и мы на них не остановимся. Главное внимание наше обращается на духовную и народную сторону этого события, а не на вещественную. Оно было не мимолетной вспышкой возбужденного патриотизма, не всеподданнейшим угождением воле и требованиям государя. Нет, это было проявление сознательного сочувствия между государем и народом. Оно во всей своей силе и развитости продолжалось не только до изгнания неприятеля из России, но и до самого окончания войны, уже перенесенной далеко за родной рубеж. С каждым шагом вперед

яснее обозначалась необходимость расчесться и покончить с Наполеоном не только в России, но и где бы он ни был. Первый шаг на этом пути было вступление Александра в Слободской дворец. Тут невидимо, неведомо для самих действующих лиц Провидение начертало свой план: начало его было в Слободском дворце, а окончание в Тюильрийском.

Самое назначение пред тем графа Ростопчина главнокомандующим в Москву на место фельдмаршала графа Гудовича, который был изнурен годами и, следовательно, недостаточно бдителен и деятелен, было уже предвестником нового настроения, нового порядка. Ростопчин мог быть иногда увлекаем страстною натурою своею, но на ту пору он был именно человек, соответствующий обстоятельствам. Наполеон это понял и почтил его личною ненавистью. Карамзин, поздравляя графа Ростопчина с назначением его, говорил, что едва ли не поздравляет он *калифа на час*, потому что он один из немногих предвидел падение Москвы, если война продолжится. Как бы то ни было, но на этот *час* лучшего калифа избрать было невозможно. Так называемые «афиши» графа Ростопчина были новым и довольно знаменательным явлением в нашей гражданской жизни и гражданской литературе. Знакомый нам Сила Андреевич 1807 года ныне повышен чином. В 1812 году он уже не частно и не с Красного крыльца, а словом властным и воеводским разглашает свои «Мысли вслух» из своего генерал-губернаторского дома на Лубянке. Карамзину, который в предсмертные дни Москвы жил у графа, разумеется, не могли нравиться ни слог, ни некоторые приемы этих летучих листков. Под прикрытием оговорки, что Ростопчину, уже и так обремененному делами и заботами первой важности, нет времени заниматься еще сочиненьями, он предлагал ему писать эти листки за него, говоря в шутку, что тем заплатит ему за его гостеприимство и хлеб-соль. Разумеется, Ростопчин, по авторскому самолюбию, тоже вежливо отклонил это предложение. И признаюсь, по мне, поступил очень хорошо. Нечего и говорить, что под пером Карамзина эти листки, эти беседы с народом были бы лучше писаны, сдержаннее и вообще имели бы более правительственного достоинства. Но зато лишились бы они этой электрической, скажу: грубой воспламенительной силы, которая в это время именно возбуждала и потрясала народ. Русский народ — не афиняне: он, вероятно, мало был бы чувствителен к плавной и звучной речи Демосфена и даже худо понял бы его.

## II

В романе или истории «Война и мир»<sup>4</sup> знаменательные дни 12—18 июля 1812 года представлены с другой точки зрения и расцвечены другими красками. Отдавая полную справедливость живости рассказа в художественном отношении, смею думать, что и мои впечатления, как очевидца этого события, могут быть приняты в соображение: едва ли они не вернее и ближе к истине, хотя с лишком полустолетнее расстояние могло, разумеется, ослабить и притупить эти впечатления. Мимоходом наткнувшись на упоминаемую книгу, не могу воздержаться от некоторых замечаний на содержание ее, особенно же по тому предмету, которого я коснулся выше. Впрочем, и в этом случае остаюсь в 1812 году: следовательно, не выхожу из круга, который я себе предначертал. Книга «Война и мир», за исключением романической части, не подлежащей ныне моему разбору, есть, по крайнему разумению моему, протест против 1812 года, есть апелляция на мнение, установившееся о нем в народной памяти и по изустным преданиям, и на авторитет русских историков этой эпохи. Школа отрицания и унижения истории под видом новой оценки ее, разуверения в народных верованиях — все это не ново. Эта школа имеет своих преподавателей и, к сожалению, довольно много слушателей. Это уже не скептицизм, а чисто нравственно-литературный материализм. Безбожие опустошает небо и будущую жизнь. Историческое вольнодумство и неверие опустошают землю и жизнь настоящего отрицанием событий минувшего и отрешением народных личностей. Лет 30 тому и более видел я в саратовском остроге раскольника, принадлежавшего толку *нетовщины*<sup>5</sup>. Сектаторы убивали друг друга. Обрекающий себя на смерть клал голову свою на деревянный чурбан, и очередной отрубал ее. Виденный мною уцелел один от побиения более 30-ти человек в одну ночь на деревенском гумне. В числе убитых были мужчины, женщины, старики, дети. Пред кончиной своей каждый говорил: «*Прекрати меня ради Христа!*» Не знаю, ради чего или кого действуют исторические *прекращатели*; но не мешало бы и этому толку присвоить себе прозвание «*нетовщина*».

Возвратимся к нашему предмету.

Сей протест против 1812 года под заглавием «Война и мир» обратил на себя всеобщее внимание и, судя по некоторым отзывам, возбудил довольно живое сочувствие. В этом изъявлении, вероятно, уплачивается заслу-

женная дань таланту писателя. Но чем выше талант, тем более должен он быть осмотрителен. К тому же признание дарования не всегда влечет за собой, не всегда застраховывает и признание истины того, что воспроизводит дарование. Таланту сочувствуешь и поклоняешься; но вместе с тем можешь позволить себе и оспоривать сущность и правду рассказа, когда они кажутся сомнительными и положительно неверными. Тут даже, может быть, возлагается и обязанность оспаривать их. Я именно нахожусь в этом положении. Так мало осталось в живых не только из действовавших лиц в этой народной эпической драме, громко и незабвенно озаглавленной: «1812 год», но так мало осталось в живых и зрителей ее, что на долю каждого из них выпадает долг подавать голос свой для восстановления истины, когда она нарушена. Новые поколения забывчивы, а читатели легковерны, особенно же когда увлекаются талантом автора. Вот почему я, один из немногих, переживших это время, считаю долгом своим изложить, хотя бы по воспоминаниям моим, то, что было, и как оно было.

### III

Начнем с того, что в упомянутой книге трудно решить и даже догадываться, где кончается история и где начинается роман, и обратно. Это переплетение или, скорее, перепутывание истории и романа, без сомнения, вредит первой и окончательно, пред судом здравой и беспристрастной критики, не возвышает истинного достоинства последнего, то есть романа. Встреча исторических имен или имен известных, но отчасти искаженных и как будто указывающих на действительные лица, с именами неизвестными и вымышленными, может быть, неожиданно и приятно озадачивает некоторых читателей, мало знакомых с эпохой, мало взыскательных и прустодушно поддающихся всякой приманке. Но истинному таланту не должно было бы выгадывать подобные успехи и подстрекать любопытство читателей подобными театральными и маскарадными проделками. Вальтер Скотт, создатель исторического романа, мог поэтизировать и романизировать исторические события и лица: он брал их из дальней старины. К тому же и в вымыслах он всегда оставался верен исторической истине, то есть ее нравственной силе. Пушкин в исторической своей драме многое выдумал: например, сцену Дмитрия с Мариной в саду. Но эта сцена могла быть и, во всяком случае, именно так и могла

*быть*. Когда знаешь историю, то убеждаешься, что поэт остался верен ей в изображении характеров пылкого самозванца и честолюбивой полячки\*. События же и лица исторические, нам современные или почти современные, так сказать не остывшие еще на почве настоящего, требуют в воссоздании своем гораздо больше осмотрительности и точнейшего соблюдения сходства. Если нельзя тут быть фотографом, то должно быть по крайней мере строгим историческим живописцем (*peintre d'histoire*), а не живописцем фантастическим и юмористическим. С историей надлежит обращаться добросовестно, почтительно и с любовью. Не святотатственно ли, да и не противно ли всем условиям литературного благоприличия и вкуса низводить историческую картину до карикатуры и до пошлости? Есть доля пошлости в натуре человека, не спорим. Нет великого человека для камердинера его, говорят французы: и это правда. Но писатель не камердинер. Он может и должен быть живописцем и судьей исторического лица, если оно подвергается под его кисть. Он должен смотреть ему прямо в глаза и проникать в ум и душу его, а не довольствоваться одним уваливанием каких-нибудь внешних его слабостей и промахов, вдоволь шпыняя над ними. Презрение есть часто лживый признак силы. Оно иногда просто доказывает одно непонимание того, что выше и чище нас. Новейшая литература наша, по следам французской — то есть по следам ее второстепенных писателей, — любит *опошлять* жизнь, действия, события, самые страсти общества. Она все низводит, все сплюсчивает, суживает. Пора людям с талантом несколько возвысить общий уровень умозрения и творчества. Некоторые повествователи и драматурги любят выводить напоказ личности посредственные, слабые, слабодушные или производить таких чудачков, которых образа и подобию в обществе не встречается. В последнем случае нет на авторе никакой нравственной и логической ответственности. Это не живые лица, а какие-то привидения прихотливого или больного воображения. С ними много церемониться нечего. Относительно же первых, с высоты авторства своего, повествователи до пресыщения трунят над своими находками и добивают их до окончательного ничтожества. Во-первых, лежачего не бьют: людей, уже избитых природою, незачем добивать

\* В «Капитанской дочке» есть также соприкосновение истории с романом, но соприкосновение естественное и вместе с тем мастерское. Тут история не вредит роману, роман не дурачит и не позорит историю.



пером. Нет, попробуйте силы свои — а в некоторых из вас этих сил довольно, — попробуйте справиться с личностями умными, с характерами возвышенными и благородными, хотя и волнуемыми страстью, — одним словом, с личностями, выходящими из среды дюжинных: а воля ваша, в наших рядах отыщутся и такие личности. Не оставайтесь на лощинах, на плоскостях, где, разумеется, действовать легче и вольнее и где разгулу более простора. Потрудитесь всходить на пригорки и самих нас взводите на них. Там воздух чище, благораствореннее; там более света; там небосклон обширнее; там яснее и дальше смотришь; там и вы и лица, вами выводимые, будут более на виду. Пред вами жизнь со всеми своими таинствами, глубокими пропастями, светлыми высотами, со своими назидательными уроками; пред вами история с своими драматическими событиями и также со своими уроками, еще более наставительными, чем первые. А вы из всего этого выкраиваете одних Добчинских, Бобчинских и Тяпкиных-Ляпкиных. К чему такое недоверие к себе, к своим силам, к своему дарованию? К чему такое презрение к читателям, как будто им не по глазам и не по росту картинам более величавые, более исполненные внутреннего и нравственного достоинства? К тому же не забывайте, что Гоголь уже гениально разработал и истощил до самой сердцевины поле нашей пошлости. Как после Гомера нечего писать новую «Илиаду», так после «Ревизора» и «Мертвых душ» нечего гоняться за *Ильями Андреичами*, за *Безухими* и за *старичками вельможами*, у которых в такую минуту, когда дело или по крайней мере слово шло о спасении отечества, одно выражалось в них — что *им очень жарко*. Не спорю, может быть, были тут и такие; но не на них должно было остановиться внимание писателя, имеющего несомненное дарование. К чему в порыве юмора, впрочем довольно сомнительного, населять собрание 15-го числа, которое все-таки останется историческим числом, *стариками подслеповатыми, беззубыми, плешивыми, оплывшими желтым жиром или сморщенными; худыми*? Конечно, очень приятно сохранить в целостности свои зубы и волосы: нам, старикам, даже и завидно на это смотреть. Но чем же виноваты эти старики, из коих некоторые, может статься, были — да и наверное были — сподвижниками Екатерины; чем же виноваты и смешны они, что Бог велел им дожить до 1812 года и до нашествия Наполеона? Можно, пожалуй, если есть недостаток в сочувствии, не преклоняться пред ними, не помнить их заслуг и блестящего времени; но, во всяком случае,

можно и должно, по крайней мере из благоприличия, оставлять их в покое.

Воля ваша, нельзя описывать исторические дни Москвы, как Грибоедов описывал в комедии своей ее ежедневную жизнь. Да и в самой комедии есть уже замашки карикатуры. Могли быть Фамусовы и в Москве 1812 года, но были и не одни Фамусовы. А в книге «Война и мир» все это собрание состоит из лиц подобного калибра. Это лица вымышленные: автор волен в вымыслах своих — пожалуй; но зачем тогда выводить тут же, например, Ст. Ст. Апраксина<sup>6</sup>, лицо очень действительное и в то время известное в московском обществе? К чему выводить *en toutes lettres*<sup>7</sup> графа Ростопчина, лицо еще более известное и в Москве и в истории 1812 года? И, выводя эту энергическую и резко выдающуюся личность, можно ли ограничиться некоторыми внешними приметам, как в виде, выданном от полиции, или отметкою, что он был в генеральском мундире и с лентой чрез плечо? Да, он и был генералом и, следовательно, не мог быть иначе как в генеральском мундире. В чрезвычайном собрании и в присутствии государя должен был он быть неминусом и с лентой чрез плечо, как и все прочие, имевшие орденские знаки. Что это за характеристика? А между тем тут обнаруживается притязание или поползновение придать картине исторический оттенок. Вот что должно сбивать легковерного читателя и что, по моему мнению, нехорошо и непростительно.

А в каком виде представлен император Александр в те дни, когда он появился среди народа своего и вызывал его ополчиться на смертную борьбу с могущественным и счастливым неприятелем? Автор выводит его перед народ — глазам своим не веришь, читая это, — с «бисквитом, который он доедал»<sup>8</sup>. «Обломок бисквита, довольно большой, который держал государь в руке, отломившись, упал на землю. Кучер в поддевке (заметьте, какая точность во всех подробностях) поднял его. Толпа бросилась к кучеру отбивать у него бисквит. Государь подметил это и (вероятно, желая позабавиться?) велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать их с балкона...»

Если отнести эту сцену к истории, то можно сказать утвердительно, что это басня; если отнести ее к вымыслам, то можно сказать, что тут еще более исторической неверности и несообразности. Этот рассказ изобличает совершенное незнание личности Александра I<sup>9</sup>. Он был так размерен, расчетлив во всех своих действиях и малейших движениях, так опасался всего, что могло

показаться смешным или неловким, так был во всем обдуман, чинен, представителен, оглядлив до мелочи и щепетливости, что, вероятно, он скорее бросился бы в воду, нежели бы решился показаться пред народом, и еще в такие торжественные и знаменательные дни, *доедающим бисквит*. Мало того: он еще забавляется киданьем с балкона Кремлевского дворца бисквитов в народ — точь-в-точь как в праздничный день старосветский помещик кидает на драку пряники деревенским мальчишкам! Это опять карикатура, во всяком случае совершенно неуместная и несогласная с истиной. А и сама карикатура — остроумная и художественная — должна быть правдоподобна. Достоинство истории и достоинство народного чувства в самом пылу сильнейшего его возбуждения и напряжения ничего подобного допускать не могут. История и разумные условия вымысла тут равно нарушены.

Не идем далее: довольно и этой выписки, чтобы вполне выразить мнение наше.

---

## [БАРАТЫНСКИЙ]

---

Карамзин говорил, что в молодости любил он иногда из многолюдного и блестящего собрания, с бала, из театра прямо ехать за город, в лес, в уединенное место. После смутных и тревожных ощущений светских находил он в окрестной тишине, в величавой обстановке природы, в свежести и умиротворительности впечатлений особенную и глубоко объемлющую душу прелесть. Подобного рода наслаждение испытал я, исключительно предавшись на днях чтению Баратынского, которого Полное собрание сочинений<sup>1</sup> появилось на днях в печати. Я тоже, так сказать, бежал из наплыва волн *текущей словесности*, и я готов был сказать с Дмитриевым:

Примите, древние дубравы,  
Под тень свою питомца муз!<sup>2</sup>

И в самом деле, в наши дни для многих поэзия Баратынского есть также *древняя дубрава*, но только немногим придет охота углубиться в ее тень; даже не пройдут они и по опушке ее, чтобы не свернуть с столбовой дороги. Как непонятна и смешна в наше время была бы сентименталь-